

## Дары и моши

Русский рок ревёт на Чистых прудах из динамиков, сама станция перекрыта, и Московский императорский почтамт в лесах. Третий день и третью ночь, как с Афона привезли дары волхвов, – это будоражит меня. Мы идём вдоль замёрзших прудов, как ещё недавно я гуляла здесь с кем-то другим; неожиданно откуда-то запах Casamorti, которые уже не продают в Москве, но я всё равно ни с чем их не спутаю – в прошлую зиму в магазине парфюма нечаянно разлила целый флакон – девять моих стипендий.

– И откуда теперь брать денег? – «теперь» – что тогда, что сейчас – год не опрокинул. Мы обе писали стихи и обе понимали, что сейчас на стихатах далеко не уедешь... Нет, даже не так: уезжать нам вовсе и не хотелось, нам хотелось всего лишь выжить. Мы обе приехали из одной поволжской республики – учиться, и тогда ещё не знали, что это «учиться» значит жить, работать, любить и даже хоронить.

– А как насчёт выступать? Попробуем? – продолжала Катя.

– По кабакам?.. Это мы сейчас туда направляемся?

– Увидишь.

– Меня раздражает такая неопределённость.

– Что тебя ещё раздражает?

– Объявления, которые приходят на почту. Что-то в духе: новые опросы про жильё, ипотеку, РПЦ, обманутых дольщиков. Будь в курсе общественных настроений! Ура, товарищи.

– Что ещё?

– Могу сказать, что будоражит мою фантазию. Двадцатитысячная очередь в храм.

– А, дары... Наши русские девочки ещё не танцуют на Афоне?

– Нет. Там не только нельзя танцевать, там и быть нельзя – женщинам. Хотя я слышала, что какая-то пара приехала и занялась там любовью.

– И что думаешь про это?

– Что думаю... Мне всегда казалось, что любовь – это способность пойти на любое богохульство.

– Казалось?

– Да... – и после затянувшегося молчания: – А тебя что раздражает, Катя?

– Парные знаки препинания, их обязательность.

– О, точно – кавычки!.. Все эти французские ёлочки и немецкие лапки... А смысл у всех один: поставил что-то в кавычки – и то, что внутри, вроде как уже и не серьёзно.

Она подводит меня к резной парадной двери, к застеклённой стене, сквозь которую виден интерьер – абажуры, буржуйки.

– Куда это ты меня привела?

– В прошлый век. Тут поэты по субботам читаются.

И мне становится тошно: буржуи делают деньги на дешёвых буржуйках. И я, кажется, понимаю, что заставляет танцевать в храмах и ездить на Афон.

\*\*\*

В ресторации мы, как и все, пьём белое и чёрное мускатное вино за столько-то целковых... свечи вправлены в бутылки, оплавлены, залиты парафиновыми слезами; бледненькие кельнерши в чёрных кружевных фартуках; тяжёлый сигаретный дым и чёрно-белая немая жизнь на экранах – столетней давности. Поэтов не видно.

Все столики в столь поздний час заняты, и к нам без разрешения подсаживается какой-то тип: «Не могу иначе – жду человека, пожалуйста, девчонки, дайте посидеть немного». И понеслось – молотит всякую чушь о здешних литературных вечерах, угощает нас вареньем из вишни и сушками с маком. По его заказу нам всё несут с кухни угощения, ставят на стол дымящийся самовар. А потом... я не могу после начищенных туалетов буржуазной ресторации смотреть в глаза неприкаянным старикам в метровагонах, играющим на тяжёлой наперевес гармонике. У него раздолбанная хромка в руках, а там, в туалетах, золоченые ручки и кафель расписан гжелью. И кто-нибудь пьяный и ошалевший будет промахиваться и мочиться на русские узоры.

«Это хамон – испанское мясо. Александр Батькович, садитесь с нами. Девчонки, какая у вас на сегодня программа? Идёте молиться к Божьей матери? Там приеха-

ли какие-то паломники... Вы сами-то православные или предпочитаете танцевать?»

«Православные».

«Сегодня же идёт в этом... ну, как его... ха-ха-эс... до десяти... надо успеть и пойти – прикоснуться, отдать, так сказать, честь. Жорж, в храме, что там идёт? Очередь большая... Он не знает, он не православный».

«Дары волхвов». – «Дары вол... ков?» – «Волхвов». – «Что такое волхвы? Знаете?» – «Ну как сказать... Прорицатели, гадалки».

«Вот и я тоже не знаю, кто это. Шарлатаны какие-то. У меня просто друг начальник службы безопасности там, нас пропустят сразу. Надо же, по девять часов очереди, и мне самому интересно – чё люди стоят? Надо сходить, посмотреть. Не хотите нам составить компанию? Такая тусовка вместо дискотеки. В торговый центр храма зайдём. Там же можно крестики покупать без налога с оборота. Там мойка есть, машину хоть помою. Представляете, он так и называется: торговый центр имени Христа Спасителя! Ну, не кури, не модно и цвет лица, морщинки. Не кури, это сейчас очень плохой тон. Тот православный, который кавказской национальности... православный, но перекрашенный, он говорит, что вкус продуктов меняется, если куришь».

Катя чуть не поперхнулась сигаретой.

«Я мало курю, поэтому у меня всё хорошо». – «Ты всегда курила?» – «Нет, как в Москву переехала». – «С какого возраста?» – «С семнадцати».

«Москва научила? Москва всегда... Ну, мы эту Москву... Девчонки, давайте ликвидируем сейчас же: ба-ранки вот остались, бросай сигарету. Ты когда не курила, тебе было приятно сидеть за одним столом с мужчинами и девушками, которые курят? Я так нагло подсел и ещё начинаю свои правила».

«Я уважаю чужой выбор, так что если курит – пусть».

«Я тоже уважаю чужое мнение, но если человек курит, я стараюсь сделать так, чтобы ему было некомфортно. Ты сидишь, допустим... кстати, мне не пахнет здесь, тут вытяжка хорошая. Представляешь, ты сидишь – кушаешь или разговариваешь, а на тебя дым. Или вот... говорят, у немцев принято, но это брехня, это нигде не принято... Ну да ладно. Так что давай... В нашу Москву не берём курящих. У нас новый президент будет. Знаешь, кого возьмём?»

«Кого?» – не без интереса спрашиваю я. – «Отгадай с первого раза». – «Вас?» – «Нет, Навального возьмём. А ты кого бы взяла?» – «Пока не вижу достойных кандидатур». – «Ну, себя, допустим?» – «Нет. В детстве хотела стать, но давно передумала». – «Почему?» – «Потому что президент живёт в ненастоящем мире: собственные резиденции, самолёты. Катаешься по городам, которые в считанные дни до твоего приезда преображают. Наспех, тяп-ляп. Кладут плитку и асфальт, неподобающее скрывают заборами». – «Это мы знаем. Но это не в городах, а в деревнях». – «Ага, в потёмкинских». – «Так вас всё устраивает? А мы хотим президента посадить». – «Посадить: расти большой, не будь лапшой!» – «Мы, говорю, посадим». – «Кто мы?» – «Вот Саня... Группа тут у нас вечерами собирается, пока ваши поэты читаются. Закончила подружка твоя курить. Ну как, ты с нами? Кого в президенты берёшь?» – «Не вижу...» – «Достойной кандидатуры!» – «Навального возьмём». – «Навальный – фашист». – «Сразу видно, что газет не читаешь. Это всё телевизионная пропаганда. Никогда он не был фашистом. Он националист». – «Я, к сожалению, с ним знакома». – «И что, он фашист?»

Кивок.

«Я с ним не знаком лично, но думаю, что ты что-то путаешь. Почему ты его называешь фашистом, может, он с женщинами как-то грубо себя ведёт?» – «Нет». – «Может,

он мазохист? Садо-мазо? Может, ты перепутала фашизм и садо-мазо? Нет? Я к тебе буду придираться. За то, что курила. Давайте, девочки, это самое... Может, по чаю?» – «Нет, спасибо». – «Тогда покрепче чего? Или мы за здоровый образ жизни? Сейчас тогда на каток пойдём кататься. Или сначала помолимся, а потом на каток пойдём? Или на каток сначала? Там до сколько? Александр Батькович, до сколько сегодня храм работает? До десяти вроде? Хотят круглосуточно, но пока не выходит. С баранками сладкими попробуйте! Давайте чайку налью».

И уходит за самоваром.

«Хватит приставать к девочкам, они клиентки!»

«Они для клиентов? Ваши, что ли, девочки? Я хотел их вареньем угостить».

«А какое отношение вы имеете к этому ресторану и поэтическим чтениям?»

«Никакого. Жорж, или по-ихнему Георгий, он мою сестру соблазнил, она забеременела. И я хожу теперь, его данью обкладываю. А вот и сам хозяин сейчас прошёл... Вон тот нерусский, лицо кавказской национальности. Александр Батькович, и ты тоже иди к нам! Не идёт. Он очень строгий. Только с мальчиками общается. Так, расскажи про Навального, как вы познакомились? Он тебя тоже обманул, как Жорж мою сестру?»

«Я замужем».

«И я замужем, верно, Кать?»

«Если б я был женщиной... И познакомился с Навальным... Я б согрешил! Ой... А с сушками ничего так, попробуйте. А что, правда замужем? Такие молодые!»

«Да, замужем. Мы в один год расписались».

«А я женат, вот какое совпадение. Я на неделю отпустил свою отдохнуть, отметить».

«Хорошо встретили?»

«Хорошо. А вы как с Навальным?»

«Нет, мы не вместе. Здесь точно сегодня будут поэтические чтения?»

«Да, я буду читать. Сначала должен напиться и вас напоить. Хотя бы чаем. Есть лёгкие наркотики и место для чтения книг. Девчонки, давайте налетайте на хамон. Пойду самовар подогрею».

«Кать, чтений не будет. Что нам делать, как отделаться от него?»

Не успеваем придумать – возвращается.

«Вы недавно замужем, молоденькие совсем. По сколько? По двадцать три-четыре?» – «Один». – «Как вы так рано – такие молодые и замужем?» – «Хороших парней мало, надо скорее разбирать». – «Детей нет пока?» – «Нет». – «Надо стараться. Не получается – может, помочь? Так, девочки, вы не подслушивайте, пожалуйста, вы на рабочем месте. О, свечки – это хорошо. Интим подкрадывается незаметно. Ты им в чай что-нибудь подлила, как я просил? Сознался, что промышляю! Вы заметили, что я всегда за чаем сам хожу? Теперь вам станет весело». – «Нам и так не грустно». – «Ещё хорошее будет. Домой не захочется». – «Нет, у нас очень строгие мужья. Рассчитайте нас». – «Что так рано уходите?» – «У нас завтра экзамены». – «Ну вот, я вас на другой экзамен хотел пригласить, на кастинг».

Когда мы одевались у большого зеркала, дверь ресторации открылась, и на костылях с колёсиками въехала маленькая немощная старушка. По её глазам я поняла, что это девочка-подросток. Она, еле расставляя костыли, заковыляла к брошенному нами столику, где ещё сидел и пыхтел подле самовара наш случившийся собеседник.

«Как думаешь – кто?»

«Дочь. Ну что, по домам – к своим воображаемым мужьям?»

«Пока да. Мне завтра лететь, надо спать пораньше лечь».

«К Кате?» – хитро посмотрев в мою сторону, спросила Катя.

«К Кате».

\*\*\*

... И здесь такой же неровный, как и везде, асфальт, и так же дымят городские трубы. И здесь тоже попрошайки – ходят прямо по забегаловкам, где бургеры средней руки едят чизкейки и пьют сладкий-сладкий кофе с десятисантиметровой молочной пенкой. И в каждой такой забегаловке около уборной сидит негритёнок и кричит посетителям «халё!» – и суёт бумажное полотенце, и влажным взглядом просит за это чаевых. Катя боится этих негритят – отнимут последнее, – поэтому по общественным уборным она не ходит. Стихов по кабакам не читает, ежедневно от родителей имея перечисления на банковскую карточку.

... На улицах, в запертых стеклянных витринах, архангелы разводят руки в благословении над бутылками с водкой Smirnoff. Там есть люди с красивыми янтарными глазами. Там бесшумные трамваи подрезают этих людей.

Там за месяц до ежегодного карнавала начинают готовиться к мистерии и напяливают вытасченный из сундука костюм какого-нибудь героя, волшебника – ходят так на работу и по улицам – в чужой шкуре.

И среди этого всего Дом выглядит цитаделью из мокрого речного песка, но он – настоящий, а что вокруг – наносное, выстроенное наспех в сравнении с сотнями лет. Так сложилось, что одна из частей Дом'а всегда в лесах, каждый раз – разная.

«Расскажи о Дом'е... Как ты тут живёшь?» – прошу я Катю.

«Недавно девицы отплясывали тут. Добрались и сюда».

«Русские снова?»

«Нет, теперь украинки. А ты знаешь, что тут хранятся мощи волхвов?»

«Тех самых, чьи дары привозили в Москву?»

«Их-их, хотя кто знает, чьи это кости. Когда большевики вскрывали мощи, то много ватки и воска нашли. Вот так вот. А тебе надо показать настоящую здешнюю жизнь!» – и ведёт меня на злачную улицу в бар с затасканным названием «Paradise». Фейсконтроль – нордический юнец в лохматой шубе – говорит, что нас пустят, но надо ждать. Стоим у ворот и ждём, стоим наживкой, будто зазывая ещё кого-нибудь вовнутрь. Подходят гогочущие поляки, но им отказывают – не так одеты. И нам всё не отворяют, нам всё не отворяют. «Пойдём плясать в другое место», – расстроившись говорит Катя.

«Смотри, мне мерещится, что ли?» – показываю ей на вывеску другого бара. Там красные зубчики кремлёвской стены и куранты, там пьют «Балтику» – но на русском ни слова. Мы стоим и решаем, идти ли к ним. «Девчонки! – вдруг кто-то на русском, слышав нашу речь. – Это судьба! Давайте познакомимся!» – «Если судьба, – отвечаю я, не глядя, – то познакомимся, когда вернёмся».

После полуночи все стекаются на подземную остановку к Дом'у – рыцарь войны, милый мальчишка-фашист (или ты перепутала фашизм и садо-мазо, или ты перепутала фашизм и садо-мазо?..), похожий своим ирокезом на птенца, и – вот это да! – те самые поляки, которых не пустили в рай. Я улыбаюсь им, как светофор, будто мы сроднились за те пару минут у ворот, Катю радостно толкаю локтем: «Смотри, это же те самые!..»

Поляки замечают нас, и один другому, гогоча: «Зобачь, те две курвы!»

«Что они сказали про нас? Мне слышалось?»

«Нет, не слышалось. Пойдём отсюда».

... Слышались крики.

Срывали покровы и облачения, а там вата, вата, вата.

С невест срывали их покровы – а там кости, кости, кости.

И где бы я ни была, ночами мне всегда снятся кошмары, а в них всегда одна и та же страна и один и тот же человек.

\*\*\*

– Кать, а давай в наш, православный, заедем?

– Эй, ты чего надумала?

– Как чего, – не понимаю, – помолиться.

– А, ну раз помолиться, то поехали.

И мы мчимся на экспрессе в пригород, чтоб найти храм РПЦ – жёлтые домики без куполов – закрытым: работает в некоторые дни и по часам, как музей. Из домика охранника лениво выходит женщина, спрашивает на чистом русском: «У вас проблемы?» – «Нет, у нас всё хорошо». – Отвечаем ей, и она уходит в свою будку мазать на хлеб масло, читать газеты.

Катя пытается привить мне их образ жизни, потому мы покупаем испанский – а немецкий гораздо дешевле – хамон, французский сыр с прованскими травами, на утро – мюсли премиум-класса – в два раза дороже и в два раза меньше обычных, испанские томаты, моцареллу и сок прямого отжима. Итого целое состояние. Мне вспоминаются голодные московские времена, когда я бегала по городу в поисках дешёвой свердловской булочки. И в музее шоколада: шоколад такой-сякой, синий, зелёный, в крапинку... и фонтан из шоколада, а на фоне Катины рассуждения: «Если я не куплю шоколад и куплю билет на самый дешёвый самолёт обратно, то сэкономлю и куплю те голубые шортики из шёлка. Это пятнадцать евро. А это один день жития».

Она примеряет эти шортики, а ещё платье из чёрного кружева – её мальчику должно понравиться. «А если не купить билет обратно, – думаю, – то можно купить десять шортиков. И женихи будто для того и нужны: ездить с ними в Амстердам и стоять перед алтарём в платье из кадомского вениза. Почему всё так?» Она покупает то шёлковое бельё, как я когда-то покупала шёлковую сорочку – так и лежит ненадёванная, потому что не стоять мне у алтаря. Аритмия. И везде по городу на вывесках два козьих рога Дом'а – как кардиограмма неверного сердцебиения.

Катя уехала на ночь к своему мальчику, который уже давно дяденька, а я осталась в её общежитии наедине с бутылкой белого вина, сыром и засохшей булочкой – целое состояние за столько-то евро. С двадцать второго этажа мне открывается вид на Хиросиму Нагасаки – там зелено и весело, в парке смеются дети, скачут и прыгают, и мне тоже иногда хочется прыгнуть.

\*\*\*

Только она вернулась утром, как заверещала пожарная сигнализация и назойливо не смолкала несколько минут. Мы молча завтракали – обе голодные и обессиленные: я – долгим сном, она – бессонной ночью. Постучала соседка и сказала, что пожар – надо уходить. У лифтов она остановила нас, и мы пошли спускаться по лестнице двадцать два этажа – непрерывные топ-топ-топ десятков студенческих ног, а около общежития уже восемь пожарных машин – гори у нас атомный завод, столько не приедет. Оказалось, что на плите подгорел рис с брокколи и горошком.

Тем же вечером она снова не осталась ночевать. Показала мне на трамвай: «Вон на той линии пойдёт и твой,

до Вайден Вест» – потом забежала в киоск, схватила у продавца один круассан за пол-евро и сунула его мне: «А это твой завтрак!» – и мне садиться в поезд, ехать до Вайден Вест и идти к высотке общежития, где все двери открываются одним ключом, но каждый думает, что у него свой особенный. А внизу Хиросима Нагасаки, и там всё вроде хорошо, там люди не становятся паром от взрыва бомбы, там они не остаются силуэтами на заборах.

Я хожу вечерами и заглядываю в окна их домов, пытаюсь узнать, чем они дышат. Внутри домов всё чинно до стерильности: накрытые белыми скатертями обеденные столы, ждут своего часа свечи. Я представляю, как мы там ужинаем, а после – занимаемся любовью на таких же белых простынях. Интересно, как они это делают? Это моё увлечение последнего года – представлять, как бы мы жили в разных местах. Катя уговаривает меня купить себе короткое пальто цвета фельдграу. И в мыслях своих – от штрассе до штрассе – представляю, как ты срываешь с меня этот серый китель, а я кричу неистово: «Jawohl!» – наваждение... и никакая нацистская вода – яблочный лимонад – не охладит моей несбыточной страсти к тебе.

«Посмотри, как он на меня смотрит! А после скажешь, что он считает обо мне!» – просит Катя в ирландском пабе. И вот он – в накрахмаленной, как сказали бы, рубашке, стройный и староватый. За столом в кружок его приятели с пенящимися кружками. Что он говорит им – не разберёшь, обнимает Катю и за её спиной делает неприличный жест – весь паб хохочет. И как это происходит, не понимаю, я беру стакан со стола, доверху наполненный прозрачным, и до дна. «О, вот это русские! Я эту горечь осилить не мог!» – восклицает он на английском. «Ещё бы... Нам же, забытым русским крестьянам, не привыкать осиливать».

\*\*\*

Мне пришлось набраться смелости, чтоб в один из дней поехать на кладбище. В Средневековье там жгли ведьм, в другое время стоял лепрозорий, а сейчас вычищенные дорожки и имперские памятники. Вечный покой там длится двадцать пять лет, и если потомки погребённых не продлевают контракт, то в могилу хоронят другого человека, а памятник измельчают в щебёнку для дорожек. Иду меж безликих мраморных изваяний – и вдруг фотография: наш, русский. Поэт. Лежит в чужой стране, в чужой могиле. А я не хочу! Не хочу! Не хочу, чтоб так и с безвестно пропавшим мальчиком-однолеткой (вспыхнул и сгинул), поехавшим учиться сюда. В аэропорту, просвечивая насквозь, меня спросили на английском: «Что это за ерунда?» – показали на золотой винтик в кармашке сумки. На каком языке нужно было объяснить им, что это единственное, что у меня осталось от него – его случайный подарок.

\*\*\*

Бездомный художник нарисовал на площади рядом с Дом'ом картину, наутро дождь всё смыл: остался Дом, и синяя краска, как чернила осьминога, осталась между плитами. А если и люди со следующим дождём исчезнут, что останется?

Одна из башен Дом'а, куда мы, разных кровей и национальностей, по винтовой лестнице поднимались вверх с великим трудом. А вверху холодно, город игрушечный, отстроенный сызнова после войны. Я глажу горгулий – тех, что загнездились на стенах, и тех, что попадали с них, – как же им, должно быть, не хватает нежности. Стены внутри башни до черноты исписаны признаниями

в любви и собственными именами. И я не знаю – верить ли им, что они сейчас признаются и именуется? Мои электронные часы сбились и упорно показывают, что сейчас 1 января 1969 года.

– С Новым годом!

В этом году родится его отец. Через три года – мать. А потом у них родится сын и будет жить двадцать один год наверняка. Целых двадцать один!

«Я люблю тебя!» – кричат все кругом – и я им всем верю – иероглифам и буквицам всех мастей.

## Нагоре

Как красные сигнальные маячки – как можно мимо, не понимаю, нельзя мимо них пройти. До нас дозвонились из Москвы и велели собрать всё, всё, всё.

Единственная радость моя была замешана на ГОРЕ – ударяйте, как хотите, они там, в своей Танеевке, всё равно на свой лад произнесут – на́горе. Так вот, на́горе: на сухой земле, на колючей траве, на ароматной кашичке. Щёки еловыми ветками расцарапать, вётра в рукава напустить, пока нагору подымешься; лучше, конечно, в рукава льняной рубашки, да какая разница, пусть и синтетика. Подымешься – и никто тебя оттуда не отпеленгует, не вычислит никаким спутником; вне зоны доступа.

И красные сигнальные маячки – нет, не тот знак, это горная клубника. Как раз поспела ко второму нашему приезду. В прошлый раз была одна зелёная слепышня, десять дней назад. Мы спускались в Танеевку с пустыми ведёрками, с обветренными руками, с загаром островками и белыми полосочками от маечек, исцарапанные, изжаленные – смотреть жалко; бабушка ругалась: почему не набрали? – а как набрать, если ещё не поспела. Надра-

ли бы зелёной – и принесли, может, всё равно сладкая или доспеет лежамши; а с Юсуповки пойдут траву косить для силоса – и скосят всю вашу клубнику. «А земляника? – взволновалась я. – Водится ли земляника нагоре?»

Но ничего нам не было, кроме светлой радости, очищенной от всяких примесей, дистиллированной: удачно, что прихватили с собой домашний лимонад и что перекусить – и вместо сбора ягод устроили пикник в еловой тени и тиши – вне зоны доступа. Дорвались до дикой, допустим, до одичавшей природы – когда-то здесь колхозные сады были, давно. А чуть сойдёшь с горы, встанешь на хоженую тропу – засветишься, на минуту появишься в сети – и целое скопище писем на электронный ящик: фотопроект, библиотеки, фейсбук, твиттер – следуй за мной... И бабушка позвонит и сподрядит спускаться – хватит засиживаться, пора в город. Часа полтора будем ждать машину, хотя могли бы эти полтора... – эх, бабушка, родная, зачем же ты меня... мне было так хорошо, мне было абсолютно нагоре.

Собирались в этот раз, она сказала нам: и чтобы целое ведро. А у меня ладошка маленькая, собирать совсем плохо: одну сорвёшь – две с горки спрыгивают обратно. Как красные сигнальные маячки – как можно мимо, не понимаю, нельзя мимо них пройти. Сердце колотится. Бежать на красный, а шоссе ревет и угрожает – это так; это уже не нагоре, нисколько; пусть дождь пойдёт, уйти-спуститься! – я молю, а из ладошек высыпается – руки трясутся. Изничтожить всё вперёд косарей, истоптать кругом!.. В городе ещё с того сезона в холодильнике лежат – зачем же нарвали, что же не съели, пока зимовали, что же...

Мать дозвонилась – и почему я не оставила его, – велела собрать всё, всё, всё. «Не рви зелёные, слепышня – это старухам», – сказала тётя. А старухам хрен собачий, нету

слепышни: все как одна – спелые и наливные, как с конвейера... «Ну вот, – сказала она, – ведёрко в этот раз всего одно, а их так много-много, какие спелые, ну, мамочки». Назавтра мы всё сделаем как надо, честь по чести: и два ведёрка, и лежанку – будем собирать и отдыхать под ёлкой, собирать и отдыхать, спокойно будет, и воды возьмём, пить хочется, можно опять забросать лимонад, и батарея будет целая – заряду на сто процентов... нет, не возьму совсем.

А к вечеру так долгожданно вышли на поляну – земляничную. «Это, – сказала она, – не земляника, это лишь виктория, её не будем – не такая сладкая». Кому же её? – этим летом никто нагору не идёт – страшное пекло, и слух прошёл, что ягод нету. «Так много спелых – и пропадёт», – сказала она. Но ведь они же не для нас цветут – и вообще. Конечно, ради людей не будут, просто захотелось – и выросли себе в удовольствие. Прошлые годы одна старушка всё вставала в пять и приходила денно, пока длилась пора, набирала пятилитровые ведёрки, продавала на перекрёстках в городе. Стоило тысячу рублей такое денное, а чтоб набрать, весь день перед ними на коленях простоишь.

Мы видели других таких же, как и мы, однажды: интеллигентски так согнувшись, рвали по одной – пожилые уже, ухоженные, как из оранжереи. Рядом была их маленькая копеечка – такая же ухоженная и такая же пожилая – видно, просто проездом были, не устояли.

Возвращаться когда – я тогда задумалась: а сколько мы травы помяли и сколько деревьев вытоптали – сосённый легион; с первым дождём они воспрянут. И ночью он пошёл, упал на город, нагору – везде, где только туч хватило, на всё. Гремел, грозил. Высвечивал то в красное, то в фиолет. Во сне мне всё мерещилось: как рву, как ни одной не упускаю, все – мои.

Мы взяли покрывало, и лимонад, и отдельно воду, и вёдра – каждое по пять, и телефон оставлен был и запаролен, – и на такси из города в деревню.

Сначала ливень отпоил, а утром раскалённым солнцем схватилось – всего одна ночь, – и вот уж нагоре нет ни одной хорошенькой – все перезрели ягоды, усохли, сморщились. Может, где в другом месте, в лесу, и есть – мало ли по миру таких мест! – а здесь же, нагоре, здесь было слишком близко к солнцу.

Мы стояли молча, первой начала она... «Вот эти вот цветочки, – сказала грустно тётя, – в моем детстве называли часиками: дёргаешь их, и ходят ходуном, вот так... Который там час, поди, уж много времени? Давай спускаться».

Мне было так легко, когда спускались: и потому ли, что наполовину полные и пустые наполовину... «Вот этот камень, – показала тётя на цветистую обочину, – таким большим был, когда я была маленькой. Давай хоть посидим».